

ДАЛИ*



ОЛЕГ НЕСТЕРЕНКО
Писатель, журналист,
кандидат наук. Дебютный
роман «Рыцарь и ведьма»
(2020) вошел в длинный
список премии «ФИНШН35».

Короче, теперь у меня есть могила. Мое место на кладбище. Рядом с мамой. Там и дед похоронен. И бабушка. Это у нас семейное кладбище прямо за домом. Обычное дело для Абхазии.

С этой могилой такая история. Бабушка перед смертью решила обо мне позаботиться. Звонит как-то раз и говорит: «Вот я думала, как ты там одна. У всех есть фамилия, род. А ты одна-одинешенька. Без семьи. И похоронить-то тебя будет негде. В общем, пусть это будет через сто лет, но я тебе определила место на кладбище рядом с тобой мамой. Оно теперь твоё».

Бабушка на тот момент была самая старшая, и решение было за ней.

Ну, я отшутилась. Сказала, что мне все равно, где меня похоронят. Мне бы с этой жизнью разобрататься, а там уже не важно. Но на самом деле мне было приятно. Вроде как они меня приняли наконец. А то в ихнем роду у меня никогда не было места.

Та же бабушка меня вечно обижала. Она ведь мне не родная. Это мамина мачеха. Так вот, когда я была маленькая, она меня по имени вообще не называла. Она меня называла Арвелод. Сама не знаю, что это значит, но это была кличка отца. А отец у меня грузин, точнее мингрел. Бабушка как бы и шутила,

а как бы и кусалась. Подчеркивала, что я не из их абхазской породы. Причем мою сестру они не трогали. Нас две сестры. У обеих грузинские имена. Я – Дали, она – Лали. Но Лали черненькая, как вся мамина родня. А я рыжая, конопатая, вся в отца – не такая, как они.

Я на них ужасно обижалась. Бунтовала. Помню, как в детстве заявила дяде... Это мамин брат, такой весь интеллигент, очень строгих правил, при нем даже взрослые громко не разговаривали... Так я ему сказала, что выйду замуж за грузина. Просто чтобы позлить его. Естественно, мне влетело.

Сама-то я свою грузинскую кровь долгое время напрочь не принимала. Если мне кто-то говорил, что я грузинка, я возражала: нет, я абхазка. Мама у меня абхазка. Отчим абхазец. Выросла я, получается, в абхазской семье. Но дело не в том, что я выросла в абхазской семье. А дело в том, что отец нас бросил.

Маме тогда было девятнадцать лет. Мы жили в бараке, который отцу дали от бетонного завода. Чтобы нас не выселили, мама сама пошла работать на завод. Она и работала, и отбивалась от родственников мужа, которые хотели забрать нас с сестрой. Потому что тот, кто забирает детей, получает и барак. А барак в Сухуме – это была большая ценность!

Тут мама познакомилась с отчимом. Он ей сказал: «Ты не переживай, мы никому детей не отдадим».

* Грузинское женское имя. Означает «сердце». Ударение падает на первый слог.

Стал помогать, ухаживать за ней. По тем временам это было крайне неправильно, потому что у него самого была семья и двое детей. А тут роман с моей мамой! Он еще и старше ее был. На семнадцать лет!

Когда об этом стало известно, мамин старший брат, тот самый строгий дядя, вообще перестал с мамой разговаривать. Мол, увела чужого мужа. Клеймо на всю жизнь! Сначала ее даже забрали с детьми в деревню, чтобы положить конец позору. Но на работу она все равно ездила в Сухум, а возвращалась всегда с продуктами. Много всего привозила. И было понятно, что сама она столько не зарабатывает. Мачеха молчала-молчала, но в какой-то момент сказала: «Сколько мы их будем терпеть?» И тогда маму отправили обратно в город. Дедушка, мамин отец, повез нас на остановку, посадил на автобус. И живи, как хочешь.

Как в сказках про злую мачеху.

В итоге обосновались мы в Сухуме. Отчим сделал маме разряд повара, и стала она работать в столовой. И готовила, и убирала там. И еще на нескольких работах работала. Пока мы были совсем маленькие, с нами нянчилась мамина бабушка. Потом она умерла, и нас с сестрой отправили в школу, в нулевой класс.

Мама затемно вставала на работу, поднимала нас с сестрой. Мы ехали к ней в столовку и там досыпали на стульях. Потом шли в школу. Школа была прям через дорогу от маминой работы – вроде бы рядом, но я все равно чувствовала свою ущербность. В школе – то мамы не было. А к другим детям приходили родители, вводили их за ручку после уроков, крутились вокруг них.

А потом мама и вовсе сдала меня с сестрой в школу-интернат. Там я проучилась до самой войны. И не то чтобы мама хотела избавиться от нас. Просто она не справлялась. А в интернате за нами всю неделю был присмотр. Ну, кроме выходных. В субботу после уроков детей забирали домой.

Правда, очень редко я там оставалась и на выходные. Мама, видно, чем-то была занята. Это был ад. Потому что всех детей забирают. А человек пять остается. И кажется, что остальные нужные, а мы – нет.

Да еще учителя к таким детям небрежно относились – ну, которых вообще не забирали домой. Родительского внимания нет, кто за них вступится? Вот и относились к ним как к отбросам общества. И когда я оставалась с ними, казалось, что я такая же, как они.

Причем меня лично учителя не гнобили. Мама все-таки много внимания уделяла интернату. Деньгами она ничего не платила, но на праздники пекла

торты, пирожные. Шила наряды красивые. Да и училась я неплохо, что тоже важно.

Но сама атмосфера... Помню, как нас привели в первый класс. Все ревут, все хотят к маме. А я не ревела вообще. Настолько мне было страшно. Воспитатели грубые. Учительница начальных классов – жесткая, строгая! Ни одного ласкового слова.

И было много всяких пугалок. Что сейчас старший воспитатель спустит тебя в подвал. Не факт, что кого-то хоть раз отправили в подвал, но мы были просто в ужасе.

Плакала я только ночами и только втихаря. Чтобы никто не слышал. Потому что спальню проверяли дежурные. Спят дети или нет. И не дай бог услышат, что ты плачешь. На самом деле, не знаю, что бы они сделали. Но по голове бы не погладили. Не сказали бы: «Что ты, Даличка, плачешь?»

Я и сейчас с включенным светом сплю, если одна. Ну, не в самой спальне зажигаю, а чтобы откуда-то падал. Это так в интернате делали. Чтобы не так было страшно, что мамы нет. А все равно было страшно. Очень хотелось к маме.

И так хотелось ей пожаловаться! Чтобы забрала меня. Но я ей ничего не говорила. Мне и так ее было жалко. Я помню ее всегда с виноватым лицом. Бедную, уставшую. Потому-то я и на бабушку ей никогда не жаловалась.

Маме меня тоже было жалко. Потому что я такая бедная, несчастная. Жалкая. У меня в детстве еще диагноз был какой-то сложный. Двустороннее воспаление легких, что ли. Из больницы меня отдали только под расписку – что в случае чего это мама несет ответственность за смерть ребенка. Один раз к нам домой пришла участковая, увидела меня – и удивилась, что я еще живая! Настолько все было серьезно.

Меня поэтому даже не наказывали никогда, боялись. Мол, я и так больная.

Вот и выходит, что мама жалела меня, а я – ее. Вот такой клубок.

Так что дома я молчала.

В субботу, значит, нас забирали по домам. За день до этого в интернате давали конфеты с повидлом внутри. Карамельки. Я сейчас думаю, что они это делали для того, чтобы подсластить перед субботой. Родители приходят, а их дети – довольные! У меня настроение, правда, улучшалось, но, конечно, не из-за самих конфет. Просто я знала, что если давали конфеты, значит, впереди выходные. Значит, скоро домой.

Хотя не сказать, чтобы дома нас ждало что-то хорошее. Нас с сестрой готовили обратно к школе.

Это же интернат: куча неухоженных детей. В субботу мы почти всегда приходили домой вшивые. Волосы у меня были длинные, но в понедельник надо было прийти в школу с чистой головой.

Мама и мамина крестница чистили нам с сестрой головы, вытаскивали гниды по несколько часов. Мазали, чем могли. Это был ад.

Но все равно лучше уж так. Потому что если ребенок ходил вшивый, его брили налысо. Так поступали с теми, которых не забирали. Или которые из многодетных семей. Этих даже если забирали, все равно их никто не чистил. Вот таких брили. Это было как клеймо. Лысые дети – родителям не нужны. За ними нет ухода.

Мы, когда уже стали постарше, чистили друг друга. Ну, за мной еще дома поухаживают. А вот девочки из многодетных семей – кто их будет чистить? Кто будет с ними возиться? Чтобы их не побрили, мы сидели с ними, чистили. Потому что это, правда, было клеймо.

Мы же понимали, что нас всех привезли сюда, потому что дома мы были лишними. Так что, как могли, поддерживали друг друга.

Вообще, начиная с четвертого класса, было полегче. Там я уже начала оживать. Учительницу младших классов я боялась напрочь – даже голос дрожал, когда отвечала. А тут по разным предметам пошли разные учителя. Некоторые были ничего.

Помню, как в начале учебного года математика вызвала меня к доске. Ее звали Далила. Она говорит: «Выбери пример какой-нибудь из учебника и реши его». Я взяла пример с целым числом и дробью. Посложнее взяла. Сначала, помню, она посмотрела на меня так брезгливо: мол, я настолько тупая, что даже пример не могла себе полегче выбрать. А я его взяла и решила. И все. У нее прям взгляд преобразился. С того дня и мой мир в интернате стал меняться. Я даже по олимпиадам математическим ездила. Алгебра, геометрия. Это мне все легко давалось.

А начиная с пятого класса я в интернате уже не ночевала. Утром приходила как в обычную школу и после уроков уходила домой. Не домой, а к родителям на работу.

Родители – то есть мама и отчим – построили ресторан недалеко от интерната. Ну, как ресторан? Апацху, если по-нашему. Это уже было перестроенное время, родители взяли ссуду у государства и построили ресторан. Он был в лесу и назывался «Сосновая роща».

Так что в старших классах было повеселее. Мы не так давно встречались с одноклассниками. Типа,

встреча выпускников была. Гуляли, выпивали. Обсуждали, кто как помнит детство. И меня сильно удивили ихние рассказы про меня. Я-то себя ощущала серенькой мышкой в уголке. А тут мне одноклассник рассказывает: «Я был в числе тех, кто был в тебя влюблен». Я такая: «В смысле? Там даже число какое-то было?»

И было бы совсем хорошо, если бы мама не работала все время. Дома ее почти не бывало. За нами с сестрой вроде как смотрела мамина крестница, но вообще мы были сами по себе.

Как-то раз играли на пляже, так я чуть не утонула. Мама и не знала про это. А я до сих пор моря боюсь. Наш барак был на первой береговой линии, и море во время шторма нас топило, прям домой заплывало. Если мне снятся кошмары, то там волнуется море.

Потом мы получили квартиру, поселились там сначала вчетвером: мать, Лали, мамина крестница и я. Потом отец – в смысле, отчим – ушел из своей семьи и стал жить с нами. Папой-то я его никогда не называла. Он и сам говорил: «Папа у вас уже есть». Но со временем стала называть его отцом. Так даже привычнее. Потому что он мне больше отец, чем настоящий отец.

Потом, значит, Лали исполнилось пятнадцать лет, она вышла замуж и уехала в другой город. Там у нее родилась девочка, Милана.

А там и лето 92-го наступило. Я окончила девятый класс и собиралась идти в десятый. Все друзья разъехались по своим деревням. Даже лысые. А я болталась одна.

И в тот день тоже была одна. Мать с отцом уехали на закуп. Лали с зятем и грудной Миланой гостили в Сухуме, но тоже где-то гуляли. Тут родители приезжают и говорят: «Где они?» Это они про сестру и зятя. Я говорю: «Ушли гулять!» Родители такие: «Куда они ушли гулять? Война началась!» И уехали их искать.

Я помню, там во дворе лежал пустой баллон из-под газа. Я на него села и подумала: «Война? Как это? Лето же! Все цветет, пахнет. Все отлично, жизнь удалась!» Родители тогда зарабатывали за ночь на машину. И мне денег давали. Я могла себе позволить что угодно. Мороженое, погулять, соки, автодром, чертово колесо, фильмы. Денег хватало.

Какая тут на фиг война? В моем понимании война – это когда бомбы падают. Я же в фильмах видела! А тут ничего такого. Во внешнем мире все в порядке. Так казалось мне, ребенку.

На самом деле конфликт, конечно, назревал. Я помню, на стадионе было сборище, на которое

я ходила с родителями. Тогда приняли конституцию Абхазии. Еще, помню, мы, подростки со школы, участвовали в митинге в честь махаджиров. Это абхазские мусульмане, которых изгнали из Абхазии после Кавказской войны. На митинг приезжали турецкие абхазы, потомки махаджиров, и мы с этими ребятами общались на ломаном абхазском. Меня и мою подругу даже поставили в первые ряды с турецкими мальчишками. Мы абхазский флаг несли, они – турецкий. Все девчонки на них заглядывались. В общем, дело шло к войне, но для меня это все было развлечение.

А еще были голодовки. Голодовали грузины, которые поддерживали Звиада Гамсахурдию, первого президента Грузии. Днем, значит, они голодовали. А ночью приходили к нам и втихаря тарились у нас ресторане.

Я не сильно понимала, что происходит. Ну, Союз разваливается, ну, Грузия отсоединилась, ну, Абхазия принимает свою конституцию. А тут раз – и вводят войска, грузины берут Сухум.

Короче, родители нашли сестру с зятем, привезли их. Мы заперлись в доме рядом с рестораном. Никуда не выходили. Только мать с отцом куда-то выбирались, потому что они в совершенстве говорили по-грузински. Они привозили продукты и новости. Мы были в курсе, что город взят, но дома пока не грабят, мирных жителей не трогают. Полномасштабной войны еще не было.

Потом грузинские военные стали щемить местных жителей абхазцев. Выискивали их по телефонной книге. Началось мародерство. Находили абхазскую семью, грабили. Насиловали. Кому что охота. Закона нет. На войне такая энергия... У кого какая сущность, такая и проявляется.

И тогда стало понятно, что к нам тоже рано или поздно придут. Надо было сваливать. Вообще, город еще можно было покинуть. Абхазцев еще вывозили. Но мы такой вариант не рассматривали. Не понимали, насколько все серьезно, не хотелось оставлять свои дома.

В итоге мы решили укрыться у дяди. Их с тетей война застала в горах, и в Сухум они уже не попали – их сухумская квартира пустовала. Двор у дяди был по большей части грузинский и очень дружный – мы знали, что нас не сдадут. Местные-то грузины считали нас за своих. Некоторые даже в ополчение пошли.

Уходили мы пешком, но к тому времени районы уже были перекрыты, везде шлагбаумы. И вот на блокпосту вооруженные люди нас на грузинском спрашивают: «Вы кто по нации?» Отец уже понимал, что бу-

дет опасно сказать, что мы абхазцы. И он им сказал по-грузински: «Мы грузины». Нас пропустили.

Так мы стали жить в дядином дворе. Если приходили гвардейцы, наши друзья грузины говорили: «Тут все свои». Мама с отцом выходили из дома собрать овощи с огорода при ресторане и купить продукты. Покупали на всех, кто не говорил по-грузински и поэтому не мог выйти. Мама брала Милану, мою племянницу – ей было шесть месяцев – и шла в очередь на хлебозавод. Очереди были огромные. Гвардейцы эти очереди охраняли. Типа, за порядком следили. Мама встанет в очередь, но сколько там Милана вытерпит! Люди идут с хлебом, а Милана руки тянет. Гвардейцы это видели, вытаскивали маму из очереди и вперед ее пропускали. А мама уж тарилась хлебом на весь район.

А однажды к отцу пришел мужик и отдал ему свой автомат. Местные ведь заранее готовились к войне, так что оружие у людей было. Только не у всех в итоге хватило духа встать в ополчение. Этот мужик был как раз из таких, пользоваться оружием он не собирался. Теперь отец, если что, мог нас защитить. А то если гвардейцы придут домой, у него дома две девочки. История может быть плохая.

Из города уже было не выбраться. Уже передовые были. Сухум был занят грузинами. На очамчирской стороне были партизаны. А абхазская сторона была за мостом, за Эшерой – где Афон, Гудаута.

Так мы какое-то время прятались, но чем дальше, тем невыносимей это становилось. Садимся мы ужинать: лето, жара, балкон открыт, – и слышно, как девочка орет, насилюют. Причем на грузинском орет. И никто ей не поможет.

Благо потом начали обменивать абхазцев на грузин. Меня, сестру, зятя и шестимесячную племянницу отправили на абхазскую сторону. А отец с матерью остались. До последнего не хотели бросать жилье. Отец еще и автомат не хотел оставлять, а перевезти его было нельзя. У отца был план, что когда абхазцы будут наступать, он к ним присоединится.

Ну вот. Перекинули нас сестрой, значит, в Гудауту. Там уже тетя с дядей и все остальные мамини братья. И вообще вся моя сухумская родня. Тоже как беженцы.

Поселились мы у Лалиной свекрови. Жили в домишке у грузин. Местные грузины тоже не хотели бросать жилье и брали к себе абхазцев, чтобы их не трогали.

Пока я жила с сестрой, мне было нормально. Казалось, что все скоро пройдет. Потом Лалина свекровь отправила ее с зятем в Питер, а я переехала

к мамину старшему брату, который строгих правил. Там у меня уже было другое настроение. Сухум, где были родители, бомбили абхазские войска. Мы это знали от моей тетки, которая работала в военной комендатуре. Все в семье переживали, но я – больше всех. Даже стала курить, чтобы не так нервничать. А в то время это было из ряда вон – чтобы девочка курила. Но даже строгий дядя закрывал на это глаза.

Лето кончилось, нас отправили в школу в Гудауте. Я пошла в десятый класс. Нас, беженцев, в этой школе было много, и там я встретила девочку из своего интерната. Мы с ней договорились идти на фронт.

Мне все равно было не до уроков. Да еще в воздухе была такая энергия... Городишко маленький. Все дружили. Все собирались в бесплатных столовых... Там были местные. Там были ополченцы с Северного Кавказа, которые через горы пришли помогать братскому народу. Все разговоры были про то, что нужно объединяться, отстоять нашу страну. Истории всякие слышны. Про мальчишку там, который молодой совсем ушел на фронт.

Короче, я знала: идет война, ее надо выиграть. Я хотела тоже вложиться в это. Может, если бы родители были рядом, я бы спокойно себе училась. Но родители были в Сухуме и в любой момент их могли убить. Я решила, что мое место на войне – а где же еще?

Но как попасть на передовую? Мне четырнадцать лет. Я учусь в десятом классе. Хожу в школу. Куда идти, чтобы меня взяли на фронт, я понятия не имею. Знаю, что есть комендатура, но мне туда нельзя, у меня там тетя работает.

И вот мне эта девочка с интерната говорит: «Я знаю, где тут военкомат, пошли туда».

Пришли мы в военкомат, и вроде как отказать нам не могут. Потому что на фронт берут всех. Всех желающих. Но они же видят, что мы совсем дети. И говорят: «Идите туда-то». И направляют в какое-то в другое место.

На следующий день мы вместо уроков идем в то другое место. А там все то же самое. Опять нам говорят: «Идите туда-то». Никому не хочется брать ответственность за детей, но и домой нас отправить не могут.

С неделю мы так ходили, пока ее родители не поняли, что она прогуливает школу. И все. Они там приняли меры, и больше она на войну уже не собиралась.

Осталась я одна, но дело это не бросила. Пришла к какому-то военному, а он и говорит: «Тебе надо

к министру здравоохранения». Фамилия министра была Осия.

Ладно. Иду к министру здравоохранения. Министр сидит в госпитале. Ну, потому что министерства никакого уже нет, потому что война.

Короче, я пришла, а министр спрашивает, сколько мне лет. Я, конечно, вру, что мне семнадцать. Паспортов же ни у кого нет. Кто докажет, что я ребенок?

Он мне начинает рассказывать красивые истории про то, как девочки вроде меня идут на фронт – и там не знают, что делать. Начинается бомбежка, везут раненых, а эти девочки теряются. От них не то что помощи нет, от них вред только. Говорит: «Надо тебя подготовить с месяцок. Поработаешь пока в госпитале. Девочки тебя научат. А потом можно и на фронт».

Я тогда не понимала, что происходит. Что он просто пытался меня защитить, не пустить на войну.

Привел он меня, значит, в отделение на первом этаже и говорит: «Эту девочку надо научить, она хочет на передовую».

И стала я ходить в госпиталь вместо школы. Как на работу. Делала всякую черную работу, которую мне поручали: где-то убрать, что-то помыть, раненому судно вынести. В общем, никакой особенной учебы не было, но я думала, что так и надо. Врачи там что-то делали. А я что? Мне сказали инструменты помыть – я помыла.

Прошел месяц, пришла я к министру и говорю: «Все, я готова». Он говорит: «Ну, пойдём, проверим твои способности, твою готовность».

Приводит меня в отделение и начинает спрашивать про какие-то повязки, швы, как остановить артериальное кровотечение, как венозное. А откуда мне знать? Он говорит: «Ну, вот видишь, ты даже не сможешь кровотечение остановить». Тут уж я разозлилась: «Так если меня никто не учит! Мне сказали: носи тряпки, корми раненых – я и делаю. Война закончится, пока я тут чему-то научусь».

Тогда Осия сказал: «Ладно, научите ее по-настоящему». И меня стали учить. Врачи нормальные были. Им было со мной интересно. Так что скоро я стала работать перевязочной медсестрой, ассистировать на операциях.

Вид раненых я переносила нормально. Я тяжело переносила, когда плохо людям становилось. Когда они бледнели, теряли сознание. У меня мама частенько теряла сознание. Вот тут я не знала, что делать. А кровь, раненые – это еще куда ни шло.

Родным поначалу ничего не говорила. Пыталась как-то перебить запах лекарств. Приходила домой

и сразу купалась. А когда приходила на работу, то быстро переодевалась, чтобы моя одежда не пахла.

Но тут началось наступление. А что делает народ во время наступления? Весь остальной, который не воюет? В каждой семье кто-то воюет: брат, сестра, сват. Никто не может усидеть дома. Все собираются у госпиталя, потому что сюда привозят раненых, сюда привозят мертвых, вся информация – здесь. Толпы народа стоят там, пока идет наступление: два дня, три дня, неделю. Стоят. Помогают чем могут.

Мои дядя и тетя тоже пришли в госпиталь – сдавать кровь. Я пришла с ними. Захожу в отделение, а мне говорят: «Дали, ты где гуляешь, началось наступление, ты здесь нужна».

Дядя и тетя видят, что меня тут знают. Я им говорю: «Так и так. Тут моя помощь нужна». Ну, родные, видно, уже и так догадывались, что я все это время не в школу ходила. Что они могли тут сделать? Осталась я в госпитале. Неделями там жила, ела там же, родственники приносили еду. Там я увидела первую смерть.

Там у нас такой длинный коридор был... В конце коридора – выход в морг. А в начале коридора несколько приемных. И тут завозят раненых на каталках. Много раненых. Врачи их распределяют: этого туда, этого сюда. Что-то там делают. И парень один лежит. Я даже не знаю, где у него было ранение. Но в сознании, смотрит. Даже что-то говорит. А потом... Перестает говорить. Его накрывают и откатывают в тот коридор, который в морг. А у меня в голове не укладывается, как это человек мог умереть. Только что был живой. Я иду, открываю его, смотрю. Мне все кажется, что он дышит. Но работа кипит, некогда у каталки стоять. Накрываю его. А у самой сердце не на месте.

Думала, мало ли: вдруг ошиблись? Я потом еще в морг пошла посмотреть на него. Нашла его по бирке. Все никак у меня в голове не укладывалось, что человек вот так умер.

А один раз была вот такая история. В операционной дежурила моя подруга, я у нее находилась. Привезли раненых. Врачи их осматривают, они все в тяжелом состоянии. Всех развозят по оперблокам – на операции. А одного оставили на носилках. Он лежит там и стонет. Я говорю: «А с ним что?» Врач садится рядом и мне показывает: у него в черепе дырки, мозг видно. Показывает мне эту картину и говорит: «Здесь мы уже ничем помочь не можем». При живом стонущем человеку такое говорит. Я в шоке. Не могу его оставить. А приходится. Там сильно не посидишь, надо заниматься другими.

И еще был страшный случай. Но там человек, к счастью, выжил. Было очередное наступление. Подорвали вертолет на земле. И кто-то из него выбрался. И вот он идет по коридору, полностью обгоревший. Из-за болевого шока сам идет на своих ногах. Огромный! А из-за отека он еще больше казался. Я вроде как знала, что делать с ожогом. Надо очистить от мертвой ткани, а то будет гнить. А тут целый человек – ожог. Как его обрабатывать? Вещи все сгорели, прилипли к нему. Ну, его обезболили, уложили на бок. И мы, несколько девочек, с него снимали пинцетом кожу вместе с вещами. Слои за слоями. И ведь он выжил!

Вот так я работала в госпитале медсестрой. Врачи менялись. К нам приезжали русские бригады военных полевых врачей. Несколько месяцев одни побудут, потом другие.

Те, кто приезжали новые, даже не знали, что у меня нет образования. Что я не медсестра. Про возраст тоже никто не спрашивал. Просто называли меня «Мелкая».

Тут я уже почувствовала свою нужность. Я реально стала помогать. Врачи меня полюбили. Раненые – и подавно! Иду по коридору в ординаторскую, где мы переодеваемся, и слышу из открытых палат: «0, Дали пришла!» Раненые называли меня Петрушкой. Я их развлекала как могла. Я молодая, мне четырнадцать. У меня краски жизни другие. То на чьих-то костылях попрыгаю, то еще что. Кого-то с ложки покормлю. Мне мамаша раненого из другого отделения говорит: «Я тебя очень прошу. У меня сын ничего не ест. Пойдем, пожалуйста, попробуй его покормить». Я прихожу – там молодой парень, ногу отрезали. Изуродовали. Хотя у него был идеальный вариант. Отрезали ниже колена. Поставил протез – и даже не видно будет. Колено сгибается, все хорошо. Но он просто жить не хочет. Не общается ни с кем. Ни накормить, ни напоить его. Депрессняк.

Но у меня он все-таки поел. Неудобно было девочке отказать.

Там разные состояния были у людей. Я как могла помогала. Было желание спасти. Все-таки молодость. Все как-то легче видится.

И среди пленных тоже были раненые. Их держали в отдельном здании. Остальные медсестры не хотели к ним идти, а я ходила. Их ведь тоже было жалко. Я им, конечно, не говорила, что я грузинка, но моя грузинская кровь – это все равно часть меня. Хотя я ее и отрицала тогда.

Так я проработала до осени. Осенью был обмен, и приехали мои родители.

Тожe испытание. Как вспомню, так вздрогну. Несколько дней тогда простояла на причале, встре-

чала корабли. Первый корабль пришел, их нет. Второй корабль пришел, на нем их тоже нет. Я уже надежду начала терять, потому что это был последний обмен перед последним наступлением на город. А будут город брать, будет мясорубка. И вот пришел последний корабль. Люди с него выходят-выходят, и я понимаю, что все. Закончились люди. А моих так и нет. И тут они выходят. Самые последние. Просто у них человек был на носилках, инвалид. Это был кто-то из тех абхазцев, с кем мы прятались в грузинском дворе.

Но все вместе мы пробыли недолго. Отец тут же ушел воевать. Я просилась с ним. Я-то теперь опытная. Я пригожусь! А он сказал: «Ладно. Но мало ли куда ты там попадешь. Ты девочка. На фронте всякое бывает. Когда начнется наступление, я тебя заберу в свой батальон. Будешь там у меня под присмотром. Подожди чуть-чуть».

Наступление началась, но отец, конечно же, меня не забрал. Когда шли на Сухум, надо было брать мост. Он простреливался отовсюду. То есть шли туда на убой. Кого туда отправили? Как раз батальон, в котором был отец. Пушечное мясо. Там были блатные, цветные, сидевшие. Отец сам семнадцать лет своей жизни просидел. Ну, с перерывами. За хулиганство.

Когда в госпиталь стали привозить раненых, они все были из отцовского батальона. Я нервничала. Ждала, что и его привезут. И счастье, если раненым. Но каждый раз привозили других. Солдаты, которых привозили, знали, что я его дочь, и говорили мне: «Аполлон Чичхалия живой». Так его звали, моего отца.

Мост в итоге взять не удалось, но отец в том наступлении выжил. И за всю войну у него ни одного ранения. Он потом говорил: «Да хоть бы одно было! Даже стыдно!»

Причем он даже не был военнообязанным. Он же был самый старший в батальоне. Ему сослуживцы говорили: «Такие пожилые, как ты, должны дома сидеть». А он и в боях участвовал, и окопы рыл. Он все время рыл окопы. У него даже было прозвище – Крот. Когда начинали бомбить, весь батальон прятался в этих его окопах.

После войны Сухумский батальон много раз пытался представить к награде моего отца. Каждый день победы. Но его так и не наградили. Потому что за спиной судимость. Клеймо на всю жизнь.

Но это уже было потом. А тогда отец ушел воевать без меня, и я решила сама лететь с очередным вертолетом на передовую. Но кто-то – может, Осия, а может, наш главврач, – меня не пустил. Сказал:

«Полетишь следующим». И вот этот вертолет, на который меня не пустили, – его взорвали.

Так я на фронт и не попала, осталась в госпитале. Удалось им, короче, не пустить меня на войну: врачам, родителям... Ну, и Свидетели Иеговы помогли.

Лежал у нас парень, без ноги. И он мне понравился! Без ноги он оказался не потому, что он был на войне. Свидетели Иеговы на войну не ходят. На охоте ему дробь попала в ногу. У него началось заражение, а от переливания крови он отказался, потому что им такое вера запрещает. Ногу отрезали.

Симпатичный молодой парень, ну, я и влюбилась! И начал он мне проповедовать. У меня вся переязычная была в его журналах. Я их даже не открывала, просто складывала. Хотя до войны Библию читала, была в каком-то поиске.

И вот этот парень отлежал свое и выписывается. А мне же хочется с ним дальше общаться! Тут я узнаю, что моя двоюродная сестра – она тоже была беженка, тоже жила в Гудауте, – собирается в Сочи на конгресс Свидетелей Иеговы. Оказывается, она тоже подалась в Свидетели.

Война еще идет, но Гагра уже взята. Дорога открыта. Я и говорю: «Я тоже хочу на конгресс. Мне очень надо».

В общем, взяли меня прицепом. Я на конгрессе встретила и этого парня, и всех ребят, которые приходили его навещать. С остальными тоже поперезнакомилась.

Три дня был конгресс, потом мы вернулись. Я-то думала, что теперь буду дальше общаться с этим парнем. Но ни фига. Я еще, оказывается, недостаточно продвинутая. У них происходит так, что к тебе приходят домой, рассказывают одну главу из книги, задают вопросы по этой главе. Ты отвечаешь. И в следующий раз все по новой. Заканчиваешь одну книгу, потом начинается другая, и только потом они приглашают тебя в Зал Царства. Там у них сходняки. Вот туда-то, думаю, мне и надо. И как можно скорее.

Вместо того, чтобы читать по одной главе, я быстро прочитала всю первую книгу. Они приходят, а я говорю: «Задавайте любые вопросы, я готова». Они говорят: «Так нельзя». Кое-как уговорила их пройти по три-четыре главы за раз.

А мама тут им столы накрывала! Она же понимает, что если я в Свидетели подамся, я на войну не пойду. Фрукты, черешня – угощала их, лишь бы они ходили мне мозги промывали, чтобы я не пошла на войну.

В итоге я и на войну не пошла, и в Зал Царства не попала. Не успела!

Ближе к концу войны меня запихнули в медучилище. И так там было интересно, что мне стало не до Свидетелей Иеговы.

Не то чтобы мне надоело это все. Частички веры у меня были. Просто я очень хотела учиться, а получать медицинское образование Свидетели не разрешали. Пришла я к ним и говорю: «Я завязываю». А я же уже первую книгу прошла, уже вторую читаю. Почти знаток. После этого должны крестить. И они так говорят: «Не познать бога – это грех, а познать и отказаться от него – еще хуже».

Собрали консилиум. Обработывают меня, чтобы я у них осталась. Парень даже этот приходил. Говорят, что если не поддамся соблазну мирской жизни, то воскресну в раю. Меня разрывало. Но я им сказала: «Я хочу жить здесь и сейчас. Эту одну жизнь. Если падаю, хочу чувствовать боль. Не знаю, захочу ли жить в раю, где нет боли. Потому что если там одна радость, то как понять, что это – радость? С чем ее сравнить, если другого ничего нет – только блаженные улыбки?»

После этого меня перестали уговаривать. Приняли мой выбор. А я продолжила учебу.

Сначала училась в Гаграх. Потом наши взяли Сухум, и на второй курс медучилища я перевелась туда. Там развернули госпиталь, куда брали только желающих, и я, конечно, вызвалась. Это было довольно рискованно, потому что боевые действия только-только закончились, и порядка в городе не было. Была даже одна нехорошая ситуация. Как-то раз я перевязывала раненого, а он меня спросил, кто я по национальности. И я сказала, что я грузинка. Типа, в шутку. Мне показалось, что это смешно. И вот следующей ночью туда пришли ребята, искали медсестру-грузинку. Мне повезло, что один из них меня хорошо знал. Он мне сказал: «Ты хоть понимаешь, что они с тобой собираются сделать?» В общем, он не дал им меня тронуть. Больше я так не шутила.

Мне к этому моменту исполнилось пятнадцать лет. Правда, по паспорту я на полтора года старше, чем на самом деле. Это мне, чтобы я могла учиться, надбавили возраст. И аттестат нарисовали без единой тройки. Мы же беженцы. Довоенных документов ни у кого не было.

Война заканчивалась, город оживал. Наша квартира была разгромлена, поэтому мы с родителями поселились в доме при подстанции. Вообще, люди заселялись в брошенные грузинские дома. Кто что успел занять. Заходишь, а там все есть – вплоть до одежды. И мне предлагали варианты, поскольку я работала в госпитале. Но отец напрочь отказался.

Он сказал: «В чужом добре, в чужих слезах я жить не буду». Вот мы и поселились при подстанции – там хоть и жили до нас, но это был не чей-то личный дом, который кто-то построил для себя.

Развлечений особо не было. Одну кафешку открыли. В эту кафешку мы, студенты, не ходили. Там собирался другой контингент. Поэтому мы собирались друг у друга в гостях. Выпивали. Пели песни. Спектакли друг другу показывали. Веселились, короче, как могли, – пока меня не украли замуж.

Парню этому было лет семнадцать. Мы с подругами тусовались у моей двоюродной сестры, танцевали. И он туда приехал, привез каких-то общих знакомых. Я пару раз с ним потанцевала и забыла. Хотя двоюродная сестра мне сразу сказала, что я ему понравилась. Я ей тоже сразу сказала, что он мне – нет.

Но он, оказывается, меня не забыл. Сначала вроде не клеился. Несколько раз подвозил меня с подругами до училища. Все было нормально. А один раз подвез, все вышли из машины, а меня он попросил задержаться, поговорить. Мы поговорили, и я ему лично сказала, что нет, ничего у нас не будет. Думала, на этом конец истории.

Прошло время. И однажды мне позвонила двоюродная сестра и позвала к знакомым в деревню. Сказала, что там будет классно и что этот парень нас отвезет. Она его хорошо знала. Я, когда про него услышала, сначала отказалась ехать. Но сестра уговорила. Других развлечений все равно не было – только съездить куда-нибудь, здесь посидеть, там посидеть. А общественный транспорт не ходил.

Ну, я и согласилась. Подумала, что с сестрой мне будет безопасно. Это и была моя ошибка. Как я потом узнала, похищение – это был как раз ее план. Ее рук дело. На тот момент на Кавказе украсть замуж – это было нормально, но я до сих пор не понимаю, почему сестра все решила за меня. Считала, наверное, что для меня так будет лучше.

В общем, мы едем, подбираем по дороге еще кого-то. Подъезжаем к каким-то воротам. Машина заезжает во двор. Тут выходят хозяйева, и мне объявляют, что меня украли. Я начинаю истерить: «Отвезите туда, откуда привезли». Я все еще не понимаю, что сестра с ними заодно. Я ей говорю: «Ты от меня никуда не отходи, а то нас будут насильовать». Тут дело в чем. Если тебя украли и не тронули, то тебя родители заберут. А если тронули, то не заберут.

Сестра говорит: «Если они увидят, что ты против, то будут держать здесь и не повезут в Сухум

к нему домой. И наша родня не узнает, где мы. Нас оставят тут и изнасилуют. А если ты сделаешь вид, что согласна, то нас отвезут в город и сообщат родителям. Так что лучше выйди из машины». Я вышла из машины и сделала вид, что согласна на свадьбу. И нас, действительно, отвезли в Сухум в его дом. Там уже стол накрыт, бычка зарезали. Компания, свадьба. Я редела всю дорогу.

Мои родные приехали раньше, чем была первая брачная ночь. Им, действительно, сообщили. Потому что когда девочка согласна выйти замуж, родителям сообщают. Но к моменту, когда приехали мои родители, обстановка была напряженная. Пошли всякие разговоры. Про то, что если будут забирать невесту, то для семьи жениха это будет оскорблением чести. Они сказали: «Мы не отдадим. Будем стреляться».

Мои родители знали, что я не по своей воле вышла замуж. Навели справки про жениха. И тоже приехали вооруженные. Послевоенное время. Конфликты так решались. И я понимаю, чем это все грозит. Ко мне подходит мой дядя и спрашивает: «Ты согласна?» Я говорю, что согласна. Тогда дядя отводит меня в отдельную комнату и говорит: «Ничего не бойся, нас тут толпа, целый автобус, мы все вооружены». А я, блин, этого как раз и боюсь. Что будет кровопролитие. За родных страшно. Я говорю, что все нормально, что я согласна. А сама реву.

Родители даже за стол не стали садиться, уехали. До этого момента я еще на что-то надеялась, а тут стало понятно, что все, остаюсь в этом доме. С этим человеком.

Прожила я с ним четыре месяца. Чего только не было. Ссорились. Мирились. Один раз он меня затащил в горы. Говорит: «Мы с моста прыгнем, если ты со мной жить не будешь». Он и вены вскрывал.

Самое удивительное, что это не был сплошной ужас. Я ведь даже полюбила его, чувства возникли. Таких чувств у меня потом больше в жизни не было. Не знаю, как описать. Настоящие. Простые. Он меня принимал всякую. Я же тоже была больная на всю голову. Истеричка та еще. Они какие-то беззаботные были, эти отношения. Я не старалась работать над ними, не вкладывалась в них... Просто жила этой любовью, этими скандалами. Были просто чувства. Никто ничего там не пытался выгадать для себя... Я просыпаюсь, а он лежит на меня смотрит. Доверие к нему было...

На самом деле он не был плохим парнем. Просто не сжились. Как-то раз он меня ударил. Вроде случайно. Я и сбежала. Вышла за ворота и ушла. Причем я даже помыслить не могла, чтобы вернуться домой

к родным. Что я им скажу? Они не поймут. Поэтому я пошла к подруге, которая работала в больнице. Она была в курсе моей ситуации. Там же, в этой больнице, мне сделали анализы, и так я узнала, что беременна. Ну, тут у меня совсем началась истерика. Проревела всю ночь. Естественно, все это время меня искали. Уже по моргам начали искать. Так что, когда я все-таки позвонила домой, родные были счастливы, что я жива. Сказали: «Приходи, тебя никто тут не накажет». Столько радости было: плакали, обнимали меня.

Когда родился сын, мы с мужем потихоньку начали снова общаться. А когда ребенку исполнился год, и вовсе помирились. Даже стали пробовать жить вместе. Но потом он начал меня конкретно бить, и это уже точно было не случайно. Тогда я и ушла окончательно. Мне даже не пришлось ничего объяснять родным. Они меня приняли. Ну, как приняли. Мамин младший брат сказал про меня: «Она позор нашей семьи, пусть уедет с Абхазии». Но отчим ему ответил: «Она живет в моем доме. Если она позорит тебя, больше не приходи в мой дом».

Муж еще пробовал то ухаживать за мной, то запугивать, но в итоге мне удалось с ним развестись. Это мне было девятнадцать лет.

Разведенкам в Абхазии в то время было очень непросто. У нас все делилось на черное и белое. Ты или шлюха, или девственница. К разведенкам клеились, даже самым каличным. Я худая была, да еще с маленьким ребенком. Испугаться можно было. А они все равно клеились. Я почему долгое время не встречалась с мужчинами? Потому что если ко мне кто-то проявлял интерес, я каждый раз думала, что просто хотят трахнуть. Я же разведенка. Разведенка – клеймо. Как лысый. Только лысого просто обходят стороной, а здесь еще и пристают. Надо себя отстаивать.

И тут меня знакомая девчонка позвала работать в Сочи. Она сама была разведенка. Она знала, каково мне было тогда в Абхазии. Сочувствовала.

Я оставила ребенка маме и уехала в Сочи. Город тогда развивался, работы было море.

Моя знакомая торговала в палатке напротив вокзала и взяла меня к себе в сменщицы. А жили мы в общежитии у ее сестры. У той двое детей. Еще к ним приезжала мать и бабушка. А к моей знакомой приезжал муж. Бывало, в туалет пойдешь – обязательно на кого-то наступишь.

Первое время я, конечно, чувствовала себя на хлебницей. Старалась не бывать дома, чтобы не обедать никого лишней раз. Приходила только поспать и искупаться.

А днем пахала. Вообще, абхазцы не очень любят работать, а мне еще и трудно было адаптироваться в большом городе. Но я выдержала. Очень много вкалывала. Муж моей знакомой даже сказал ей: «Слушай, по-моему, она не абхазка. Что-то она до фига работает».

Сначала работала в этой палатке, пока ее не закрыли. Потом устроилась в круглосуточный ларек. Но долго там не задержалась. Я же была дикая, потерянная. Подходит покупатель, говорит: «Дайте пива». У нас в Абхазии было только два вида пива: «Балтика Тройка» и «Балтика Девятка». Другого не было. А тут он спрашивает Kozel. А на «козле» не написано по-русски, что он – «козел». Как я его найду? Или, говорит, дайте мне крекеров. И у меня по лицу видно, что я не знаю, что это. Уже мне подсказывают: «Вон они, на холодильнике». Ну, я вижу, что там печенюшки. И думаю: «Печенюшки-то я знаю. А должно быть что-то незнакомое. Видно, нет тут крекеров». И все в таком духе. Причем меня не увольняли, пока сама не ушла!

Потом нашла другую работу. В кондитерский цех нужен был кондитер. А я на районе лучших всех пекла. Пришла, поболтала со старшим кондитером. Она говорит: «Бисквит умеешь? Эклеры умеешь?» Я говорю: «Все умею». Взяли меня на работу, начала я помогать. Старшая говорит: «Принеси венчик». Я пошла на мойку, обыскалась: нет венчика. Ну, это как с крекерами. Потому что он там был, просто он был не как дома. Это же цех, тут венчик – это такая огромная штукавина. Я таких и не видела раньше. Но, в общем, осталась в цеху, стала учиться.

Это все не сразу, конечно. Сначала меня никому не брали. В одном месте со мной побеседовали и сказали: «У нее глаза такие бешеные, потерянные. Мы не можем ее взять». А еще меня не брали на работу, потому что я абхазка. Абхазцев не брали, потому что они приезжали, устраивались на работу, снимали кассу и уезжали в свою беспредельную Абхазию, а там концы в воду. Когда я говорила, что я абхазка, мне отказывали.

Родители моей знакомой мне как-то раз говорят: «В этой общаге живет мужчина, мингрелец, беженец с Абхазии. У него на рынке точка, связи. Скажи ему, что ты тоже мингрелка, он тебя устроит». Я такая: «В смысле? Я не скажу ему, что я мингрелка! Я абхазка!» Я ж после войны еще такой патриоткой стала. Хотя наполовину-то я и правда мингрелка. Родители знакомой тогда промолчали. Наверное, подумали: «Ну ее на фиг».

Там вообще было много грузин, беженцев с Абхазии. Но я в то время думала: «Мы, абхазцы, отвоевали

Абхазию, нашу родину, нашу землю. А остальные все – свалили. Так им и надо. Надо было держаться нас – сейчас бы жили у себя дома». Я свято в это верила.

А потом начала встречать нормальных людей среди беженцев, бывших сухумчан. Грузин. Мингрельцев. Стала узнавать их истории, начала понимать их правду. Увидела, как они живут, как вкалывают. Подружилась с ними. Не сразу это произошло, кусались сначала. Я им долго не говорила, что я тоже грузинка. Казалось, что если скажу, то предам свою абхазскую часть. Другое дело, если мне никакой выгоды от этого нет. Или даже себе во вред. Как было тогда в освобожденном Сухуме. Вот тогда мне легко сказать, что я грузинка. Из чувства протеста.

Сейчас-то я уже спокойнее к этому отношусь. Недавно пришла в салон. Мастер, грузинка, болтает со мной, спрашивает, как меня зовут. Слышит «Дали» и улыбается. Понимает, что мы одной крови. Спрашивает: «Грузинка?» Я говорю: «Наполовину. Смесь».

Но пока не прощу отца, так и буду, наверное, чувствовать себя больше абхазкой. Вчера вон до полвторого ночи читала комментарии в интернете. Там Абхазию ругали за незаконные. Я злилась, курила. Когда кто-то лает на Абхазию, мне непереносимо. Это мой народ, моя республика, мои люди. Хотя там все правильно написали! Что в Абхазии нет закона. Я же сама из-за этого и уехала окончательно. Когда мама умерла, я пыталась в Абхазии построить бизнес. Взяла летнюю точку в аренду. Оборудование у меня было, поставщики были. Кое-какие деньги имелись. Все обустроила, поработала немножко – и что? Меня ограбили! Сын заступился, разбил парню голову. Ну, тому, который залез ко мне на точку. А он из блатных оказался – и сыну потом отомстить хотели, стреляли в него. Пришлось одно время скрываться. Вот так у нас в Абхазии появились враги. Ну как там обустроиться?

Сейчас я так рассуждаю: если в Абхазии случится война и мой сын захочет воевать, я сделаю все, что в моих силах, чтобы его не пустить. Мне плевать, моя ли это земля. Главное, чтобы мой ребенок был жив. Я его увезу на другой край света, пускай это будет Сибирь или Сахара, все равно. Ценность имеет жизнь моего ребенка. У земли нет ценности. Ну, отвоевали мы абхазскую землю – мне что, хорошо на ней жилось? Я что, была на ней счастлива?

Да и не держит меня там уже почти ничего.

Родителей уже нет в живых. Раньше-то я в нашу деревню ездила на праздники. Но после смерти мамы надолго перестала. Ну, потому что я приеду, а рядом с домом – мамина могила. Я сразу реветь. На фига мне такой праздник!

Теперь, правда, там еще и моя могила. Бабушкин подарок. Если честно, я сначала его не очень оценила. Могила и могила. Не придавала этому значения. И только когда умерла тетя, поняла, как этот кусочек земли для меня важен.

Звонит мне, значит, двоюродная сестра и говорит: «Тетя перед смертью попросила, чтобы ее похоронили рядом с твоей мамой». Я говорю: «Конечно, хороните». А потом до меня доходит: «Это же мое место!» Это что получается? Получается, и этого места меня лишили. В жизни в этом роду я вечно вытиснутая: вроде и своя, и не своя. Выходит, и теперь ничего не поменялось. Все за меня порешали.

Но когда я приехала на похороны, то увидела, что кладбище расширили. Тоже бабушка позаботилась. И тетю похоронили у мамы в ногах. А мое место как было, так и осталось! Рядом с мамой. Рядом с мамой.

А недавно на Пасху собрались в деревне. Большой-большой компанией собрались. Вся родня, кто живые. И вот мой дядька, который строгих правил, – он сейчас самый старший, – сидит во главе стола, говорит тост: «Я так рад, что мы все собрались. А больше всего я рад, что пришла Дали». И что-то про меня продолжает.

У меня слезы накатили. Сын его говорит: «Слушай, завязывай. Она плакать начинает». А дядька говорит: «Я люблю, когда она плачет. Это душевно так». И все эти взрослые мужики тоже сидят и плачут.

А ведь раньше и отвергали меня, и обижали. Чего только не было между нами. А теперь – я когда приезжаю, то у них, правда, как будто праздник.

Может, я и должна была через все это пройти. Чтобы оказаться там, где оказалась.

Иногда ловлю себя на мысли: «Блин, Дали, ты же счастливая!» Я не нуждаюсь, и кусок хлеба не достается каким-то очень тяжелым трудом. Мои близкие живы-здоровы. Есть любимый мужчина, который всегда рядом.

За сына волнуюсь, конечно. Но если принять, что он живет как живет и это его устраивает... Если помнить, что нет ничего идеального... Получается, я счастлива.

Все у меня есть. И даже могила. Что еще надо для жизни?

